

СЛОВО

*Рассказ*

1

Это было такое место, где дул холодный, порывистый ветер, все время напоминавший о том, что осень уже закончилась. Облака, плывшие по низкому свинцовому небу, то и дело цеплялись за ржавый флюгер старой больницы, обнесенной железным листом, за которым теснился небольшой, обглоданный осенью парк с давно улетевшими птицами.

Было непонятно, зачем он притащился в этот старый облупившийся дом, построенный еще в советское время и служивший лет тридцать глазной больницей, единственной в этом захолустье. В мутное перестроечное время больницу закрыли, слепых разогнали. А к нулевому здание купили какие-то коммерсанты, переоборудовали. И после этого сюда стали направлять больных с другими проблемами. Хотя что там за проблемы! Два-три дня – и пациенты были здоровы.

Он бывал в этом городе уже много раз. Дела университета, которые заставили его покинуть насиженное место в столице и, выполняя академическую повинность, тащиться в учебный филиал на окраине страны, обрекали его, уже немолодого профессора, трястись в плацкартном вагоне за тридевять земель, чтобы два месяца в году вести свой знаменитый семинар по стихосложению. Он обреченно снимал очки с тяжелыми линзами и тер ладошкой короткую, толстую шею и с ненавистью думал: кому тут, среди панельных гнилушек и унылых улиц с разбитыми фонарями, сдалось это чертово стихосложение, кому оно нужно, умение рифмовать в городе, где смысл жизни упирается только в две задачи – родиться и умереть? Господи, и зачем он согласился на этот семинар?

Впрочем, резон был. Конечно, был. До окончания школы старшей дочери оставалось полтора года. И Лора, жена, уже пару лет проедала его намечавшуюся плешь, что дочь надо запихнуть на факультет именно к нему – на других она не потянет. Старшая и правда пошла не в него. Усердие было ей не к лицу, а поэзия и вовсе казалась полным бредом. Но что он решает? Что он вообще когда-либо решал? За решением нужно было идти на поклон к декану. Но именно декан и навязал ему этот треклятый семинар в филиале. Отказать было невозможно. Либо соглашаться, либо вообще больше не появляться Лоре на глаза. Он выбрал, конечно, первое. Нарушать в своей полноводно текущей жизни он ничего не хотел. Что намечалось, достигнуто. Что мечталось, сбылось. Конечно, многое успело полинять, многое сбросило свои прежние краски. Но порядок, заведенный в семье, был все таким же. Уважение к его университетской должности стояло на первом месте. Идеальная чистота и прохлада кабинета, приглушенная жизнь домочадцев и телефонных звонков – все эти правила, навязанные Лорой, которая посвятила семье свою жизнь, побуждали и его самого толкать вагонетку жизни по привычно проложенным рельсам.

---

*Мила Борн родилась в 1972 году в Волгограде. Окончила Литературный институт им. Горького и сценарный факультет ВГИКа. Публиковалась в российских и зарубежных изданиях: «Артикуляция», «Фабрика литературы», «Вторник», «Литоскоп», Литература, «Берлин. Берега», «Зинзивер» и др. Автор книги рассказов «Голодный остров» (М.: Стеклограф, 2020). В «Волге» публиковались рассказы (2021, № 5-6)*

В этом ненавистном городе он работал в последний раз. К огромному его облегчению, в новом учебном году филиал приглашал молодого специалиста, только что защитившего диссертацию по силлабо-тонике Чосера. Ну а он мог спокойно вернуться в Москву. Правда, в захолустье этом у него оставались еще дела. Но и они казались очевидным финалом пребывания тут. Все, – твердил себе он. – Доделаю, и вон, вон из этой дыры, чтобы никогда уже больше, чтобы ни за что, какие бы новые ультиматумы не придумала Лора!

Его служебная квартира была уже занята. Два дня назад прибыл командированный доцент с кафедры зарубежной литературы. И вещи новенького, нераспакованные, так и стояли в тесном коридоре. Сам он, скрючившись, ночевал на прокуренном кухонном диване, дожидаясь, пока уважаемый профессор уедет в Москву. Можно было, конечно, освободить положенное жилье доценту и перебраться в местную гостиницу, наверняка с клопами. Но за гостиницу надо было платить. А он и так уже сильно потратился. Какой-то внутренний голос все настойчивее и настойчивее твердил ему, что хватит уже, хватит, пора остановиться и вернуться домой, где его уже ждали. На носу были новогодние праздники и Рождество. Пора уже было хлопотать с подарками. Потом – сессия. Потом – каникулы в теплых странах. И все – на круги своя. Но это последнее, незавершенное дело тянуло и связывало его по рукам и ногам, как чугунные гири.

Он отчаянно не понимал, почему жизнь так наклонила его и заставила тащиться в это тухлое, убогое место. Не понимал и того, почему в нем так сильно прорастает проворность пугливого и чуткого зверя, спасающегося впервые откровенным, постыдным бегством. Это было похоже на запрет Лоры курить, который он пытался преодолеть, покуривая втихаря в студенческом туалете. Впрочем, зачем врать себе самому? Он никогда не был ни особо смелым, ни особо решительным. В университете часто прятался за спинами других, разъедаемый страхом перед тем, что самая незначительная проблема может разрастись до какого-нибудь вселенского масштаба и выбить стул из-под его тела, тяжелеющего год за годом от спокойной и сытой жизни. Но хватит, хватит уже этой беготни! Устал уже от улаживаний и умащений! В конце концов, возраст давно напоминал о себе, наваливаясь то одышкой, то внезапной изжогой, то ломотой в спине. Настанет время, – думал он, прохаживаясь по командировочной квартире, – и золотая карета превратится в тыкву: университет проводит на пенсию, в кабинет его переселится кто-то из дочерей со своими новыми детьми и мужьями, в доме станет шумно, Лора придумает для себя какие-то новые смыслы, в которых не останется места ни его стихосложению, ни ему самому. Так что хватит уже себя гробить. Пора и пожить нормально.

В провинциальную больницу с обглоданным парком он приезжал уже тремя днями раньше. А теперь, как положено, вернулся, какой-то заспанный и растрепанный, в небрежно застегнутом дорогом кашемировом пальто с ошибкой на одну пуговицу. Пока дожидался в приемной, где ему выдали венский стул, пронумерованный и неряшливо покрашенный в белый цвет, он забился в самый дальний угол и стал исподлобья наблюдать за тремя другими – такими же, вероятно, как и он сам.

Это были мужчины, одинаково скучающие от своего ожидания. Один, очень толстый, был одет в скрипучую кожаную куртку, которая не сходилась на его животе, и потому он носил ее только расстегнутой. Ожидание томило толстяка. Он запрокидывал голову, то и дело проваливаясь в сон, и прислонялся лысым затылком к стене, время от времени сочно всхрапывая, чем сам себя и будил. Другой шелестел газетой, которую, должно быть, уже давно прочитал, а теперь загораживался ей, как будто опасаясь нарваться на собеседника. Третий постоянно хватался за телефон, вскакивал со стула, выбегал из приемной на улицу и нагло кому-то врал, что уже едет домой и не забудет купить буханку ржаного. На самом деле все они, оказавшиеся в незримой, но одной западне, жаждали только одного – поскорее отсюда выйти. Выйти хотел и он. На последний вечерний поезд был уже куплен спасительный билет. И оставались только формальности.

В приемную перпендикулярно упирался длинный и скучный коридор, в конце которого маленькая, рыхлая поломойка скребла самодельной шваброй дощатый пол и негромко, но злобно

материлась то ли на посетителей больницы, таскающих сюда уличную грязь, то ли на врачей, забывавших беспечно переобуться. Ее бормотание было не разобрать и казалось каким-то заговором. Вымытый пол, впитавший и воду, и вонь больничной столовой, отдавал едва уловимым ароматом осеннего леса, какой-то грибной гнили и жирной сырой земли. Этот аромат, подхваченный коридорными сквозняками, которые сочились через щели хлипких оконных рам со сварными решетками, носился по всей больнице вместе с едкими, шибяющими запахами йода, хлорки и сбежавшего молока. На подоконниках сохли измученные алоэ – никому не пригодившийся уют – будто бы принесенные сюда по ошибке, но теперь упрямо тянувшие свои бессмысленные листья, усуженные «детками», в холоде и запустении. На штукатуренных стенах – выцветших, словно ситец в конце жаркого, долгого лета – можно было еще разобрать нехитрую роспись какого-то местного мазила, нарисовавшего здесь энергичных тружеников советских пятилеток, грудастых крестьянок с хлебными снопами, пижонистых инженеров с рулонами ватмана и огромными циркулями в руках.

От скуки он стал рассматривать эту мазню, не понимая, для кого изобразили этот мир сильных и счастливых людей. Для пациентов глазной больницы? Их родственников? Или врачей, обещавших и тем и этим, что слепоту излечить возможно? А может, все это было создано для тех, кто приезжал на лечение теперь? Тех, кто лежал на кроватях со скрипучими панцирными сетками, оставленными в наследство от незрячих? Тех, кто лежал, отвернув от мира свои застывшие лица, и обреченно ждал, когда очередь дойдет? Нет, – думал он, – мир колхозниц и инженеров вряд ли будет им интересен. Тогда для кого художник рисовал? Было непонятно.

В глубине коридора распахнулась дверь. В приемную сунулась бойкая, разбитная санитарка и выкрикнула знакомую ему фамилию. Он хорошо ее выучил, называя и сам изо дня в день во время студенческой переключки. Фамилия эта была какой-то рассыпчатой и летучей, как будто, едва собрав в себе массу букв, не могла удержать их в себе, вместе, и они прямо на языке рассыпались, скакали, как бусины, покотившиеся с оборванной нитки. От неожиданности он проворно поднялся, с грохотом отодвинул от себя стул и торопливо пошел к санитарке. Сунул ей целлофановый пакет с приготовленной сменой белья. Санитарка молча кивнула и ушла. Спящий толстяк перестал храпеть. Поднял голову. Мутным, непонимающим взглядом обвел приемную и, как младенец, снова провалился в свое забытье.

## 2

Наконец она вышла. Отыскав его, сидящего в самом дальнем углу, подошла, молча протянула пустой целлофановый пакет, будто бы возвратила то, что брала у него взаймы. Он хотел что-то ей сказать, но передумал, увидев, как трое других мужчин, томившихся в ожидании своих, стали их рассматривать. Тяжело, медленно она пошла к выходу на улицу, размахивая пустыми, словно потерявшими что-то, ладонями. Он нагнал ее и попытался взять за руку. Но она, опережая мгновение, сунула руку себе в карман. Повернула к нему удивленное лицо. Как всегда, улыбнулась неловко. Задержала на нем взгляд. Заметила: он был смят, как бумага. Глаза усталые, красные. Не выпался? Вон как кутается в свое дорогое, но совсем не теплое для этого времени пальто, в котором он напоминает ей огромную ворону с обрезанным хвостом. Вдруг подумала: и зачем он приехал? Ведь видно, что совсем не хотел приезжать.

Аллея, прорубленная среди некрасивых, больных тополей, вела к покосившимся и расшатанным воротам. Дойдя до них, она вытянула, как незрячая, руку, чтобы открыть. Но он обогнал ее, дернул на себя скрипучую калитку и пропустил ее вперед. Наконец они вышли к шоссе. Было вяло, потому что накануне ночью лил дождь. И теперь машины пронеслись мимо них, выстреливая из-под колес россыпью брызг и обдавая липкой, холодной грязью. Она посмотрела на его ботинки и снова подумала, как все в нем не соответствует ни текущему моменту, ни погоде,

ни здешним местам. Коричневая земляная каша облепила измученный черный замш и сделала красивую профессорскую обувь похожей на разбитые чуни, какие носят крестьяне на полях. Он ловил попутку, выбрасывая с какой-то беспомощностью свою узкую и сухую ладонь из рукава пальто. Она посмотрела, отступив на шаг, ему в спину. Подумала: в сущности, как она была близорука, не увидев, насколько чужим был ей этот человек – со своей занудной ученостью, которой он загораживается, когда не знает, как ему поступить, своим голосом, каким-то высоким и фальшивым, как будто он путает тональности или разговаривает, не разбирая тонов, своей танцующей, старческой походкой, занудными рассуждениями, нравочениями и скукой, вечным брюзжанием и непроходящей усталостью, бессмысленной ночной болтовней и вопросами в воздухе «сколько осталось мне», рассеянностью, от которой он мучается и которой стесняется, опасаясь, что это обнаружит кто-то еще, людьми из его другой жизни, которые терзают его мобильный, и он помнит все их имена, и он рад этой чужой, неизвестной ей жизни. Она зажмурила глаза. Перечисление утомило ее. Показалось, что кто-то невидимый бросает в нее комьями то ли снега, то ли грязи, а она вернуться не может или даже не хочет. Снова открыла глаза. Посмотрела на себя. Коротенькая болоньевая куртка какого-то наивного, ярко-алого цвета, которая служила ей уже не первый год, была неряшливо забрызгана с одного бока грязью. Она потеряла грязь ладонью, на тыльной стороне которой увидела пластырь, приклеенный к коже плотно, крест-накрест. Вспомнила и больницу, и панцирную сетку, и унылый прямоугольник окна, в который вглядывалась три ночи подряд, будто бы пыталась рассмотреть в тяжелом осеннем небе что-то призрачное и исчезающее.

Он окликнул ее. Нетерпеливо потянул за рукав. Метрах в пяти, на обочине остановился «Москвич» какого-то дачного вида и посигналил им. Они побежали. Торопливо полезли в машину и уселись на заднее кресло, застеленное по-хозяйски каким-то детским одеялом, прожженным в двух местах сигаретой. Захлопнули дверь. Поехали. Водитель, в замусоленной куртке узбек, оставивший наконец попытку дорожной болтовни, с каким-то тупым упрямством стал тыкать в магнитоу, пытаясь настроить волну с прерывающейся в эфире «Ламбадой».

В дороге как будто тянули время, которое ползло и ползло. Он сидел, отвернувшись к боковому окну. Она смотрела в его сторону и видела только бобрик седеющих, коротко стриженных волос, золотистую дужку за ухом и толстую шею, бесстыдно вываливавшуюся из-под ворота кашемирового пальто. Она не могла понять, где и когда перепутала смыслы. Почему все случилось именно так? Из-за чего так случилось?

От леса на шоссе уже ползли сумерки. День кончался. До полной темноты оставалось совсем немного – каких-нибудь полчаса. Всего лишь полчаса до того, как забудется все, что случилось этим холодным, промозглым днем. И зачем ей все это было нужно? Какую силу она пыталась найти в легковесных чужих словах? Вот-вот, рассуждала она, и наступит завтра, она нырнет с головой в гущу привычных событий, которые, как всегда, будут отдавать какой-то, пусть легкой, но все-таки фальшью. Впрочем, она давно уже привыкла к этой фальши – своему несовпадению со всем, что было вокруг: бесцветным городом, в котором никогда ничего не случилось, где только и делали, что рождались и умирали, и бесцветными людьми, которым не под силу было приподняться над своим повседневным человеческим словарем, и бесцветным небом с улетевшими на зиму птицами. Она бы тоже могла улететь. Но что-то подсекло ее, что-то лишило важного – сил, чтобы оттолкнуться от земли. Она подумала вдруг: наверное, это важное осталось там, куда он привез ее три дня назад.

Дождь пошел снова. Забарабанил отчаянно по крыше машины. Она вытянула вперед руку. Хотела взять его за рукав, что-то спросить. Но увидела, что он уснул, привалившись к стеклу. Рот был безвольно раскрыт, а голова его перекатывалась, елозя по запотевшему стеклу и время от времени гулко стучаясь о металлическую раму окна. Она смотрела на него, спящего, и ей почему-то показалось, что вот так, должно быть, он бы и выглядел, если умер. И не стала его будить.

Добравшись до своего общежития, она попросила узбека остановиться. Неслышно выбралась из машины, закрыла за собой дверь. Было уже совсем темно. Окна домов без порядка дырявили осеннюю мглу. Она, угодив в холодную, мутную лужу, доковыляла до тротуара, обернулась и еще раз посмотрела через мокрое стекло внутрь машины. Он по-прежнему спал. Тело его, измученное бессонницей и холодом, теперь, казалось, согрелось и послушно сползло на сиденье машины. Он лежал на прожженном одеяле, завалившись как-то по-детски на бок и подложив под щеку обе руки. А очки, съехав к уху и задрав одну свою дужку вверх, делали его похожим на большое и многоглазое насекомое, перевернутое на спину и потерявшее последние силы, чтобы вернуться назад.

## 3

Перед отправлением поезда он запомнил, но потом спохватился, что хотел все-таки позвонить. Набирать ее номер на мобильном было неумно. На завтра Лора могла заметить звонок. Тогда он зашел на привокзальный переговорный пункт, где минут двадцать напряженно ждал, пока кто-то отыщет ее в общежитии, пока она спустится на проходную и подойдет к телефону.

В трубке нестерпимо шуршало. Поэтому слово, которое он сказал ей, а потом для верности повторил, безнадежно потонуло в шорохах. Или, может быть, он сказал это слово недостаточно громко или нерешительно, не надеясь больше на его спасительный смысл. И только где-то там, в глубине переговорного пункта, он слышал, как телефонистка кричала кому-то в динамик: «Первый! Первый! Пройдите же наконец в кабину!» И следом за ней – густой, но срывающийся голос: «Мама! Мама! Ты слышишь меня? Лена родила! Мальчика!»

Он положил трубку.

*Берлин, 2022*